

ПОЛИТОЛОГИЯ ГЕНДЕРА

Случайно сложившиеся основания: феминизм и вопрос о "постмодернизме"

Джудит Батлер

Вопрос о постмодернизме, вот уж действительно вопрос — да есть ли, в конце концов, то нечто, что называют постмодернизмом? Что это — историческая характеристика или определенная теоретическая позиция? Что это значит для термина, описывавшего определенную эстетическую практику, теперь применяться в сфере социальной теории и, в частности, феминистской социальной и политической теории? Кто такие эти постмодернисты? Берут ли это имя себе самостоятельно или же этим именем тебя называют другие, если и когда ты проводишь критику субъекта, дискурсивный анализ, или анализируешь целостность или когерентность обобщающих социальных дескрипций?

Мне известен этот термин по способу его употребления, и обычно он возникает в моем поле зрения схваченным в такие критические формулировки, как "если дискурс есть все, что есть . . .", или "если все есть текст . . .", или "если субъект мертв . . .", или "если реальных тел не существует . . .". Фраза начинается с предупреждения о неминуемом нигилизме, ведь если доказать, что по подразумеваемому смыслу эти придаточные [предложения] условия справедливы, то тогда — и всегда есть *тогда* — это неотвратимо влечет за собой некое множество опасных последствий. Итак,

Первая версия этой статьи под названием "Феминизм и вопрос о постмодернизме" была представлена на Философском Консорциуме Большой Филадельфии в сентябре 1990 года.

Перевод с английского Завена Баблюяна.

Перевод выполнен по изданию Judith Butler, "Contingent Foundations: Feminism and the Question of 'Postmodernism'" in *Feminists Theorize the Political*, eds. by Judith Butler and Joan W. Scott, (New York: Routledge, 1992), pp. 3-21.

кажется, что “постмодернизм” артикулируется в форме угрожающих придаточных условия или иногда в форме патерналистского презрения к чему-то юношескому и иррациональному. И против этого постмодернизма предпринимается попытка укрепить первоначальные предпосылки, установить заранее, что любой политической теории необходим субъект, с самого начала ей необходимо принять как должное свой субъект, референциальность языка, целостность предлагаемых ею институциональных описаний. Ибо политика немислима без основания, без этих предпосылок. Но стремятся ли эти заявления сохранить сложившуюся форму существования политики, требующую, чтобы эти понятия оставались не подвергаемыми проблематизации аспектами ее собственного определения? Тот ли это случай, что все политики, в том числе и феминистские, немислимы без этих бесценных предпосылок? Или же скорее некоторые особые типы политик показываются в их исторической обусловленности, если эти предпосылки ставятся под вопрос?

Заявлять, что политика требует стабильного субъекта значит заявлять, что не может быть политической оппозиции этому заявлению. Действительно, это заявление предполагает, что критика субъекта не может быть политически наполненной, но скорее это акт, подвергающий риску критику как таковую. Требовать субъекта означает замкнуть сферу политического, и такое замыкание, аналитически реализованное как существенный аспект политического, удерживает границы сферы политического таким образом, что это удержание защищено от политического испытующего взгляда. Акт одностороннего установления сферы политического функционирует, таким образом, как авторитарная уловка, в общем порядке замалчивающая политическую борьбу за статус субъекта.¹

Отказываться предполагать, или требовать понятия субъекта с самого начала не то же самое, что отрицание или игнорирование такого понятия вообще; но наоборот — [это значит] вопрошать о процессе его конструирования и его политическом значении и логичности рассмотрения субъекта как требования или необходимой предпосылки теории. Но добрались ли мы уже до понятия постмодернизма?

К постмодернизму приписывают сразу много позиций, как если бы это была вещь, могущая служить носителем набора позиций: дискурс есть все, что есть, как если бы дискурс был такой монистической материей, из которой сделаны все остальные вещи; субъект мертв, я никогда больше не скажу “я”; реальности не существует, только репрезентации. Эти характеристики разнообразно вменяются постмодернизму или постструктурализму, которых смешивают друг с другом, и подчас смешивают с деконструкцией, и подчас понимают как нерасчленимое скопление французского феминизма, деконструкции, лакановского психоанализа, фукианского анализа, конверсационализма Рорти и cultural studies. По нашу сторону Атлантики в современном дискурсе термины “постмодернизм” или “постструктурализм” устраняют различие между этими позициями одним ударом, предоставляя субстантив, существительное, включающее в себя эти позиции как множество своих модальностей и пермутаций. Для многих приверженцев континентальной сцены может быть неожиданностью узнать, что лакановский психоанализ во Франции официально противопоставит постструктурализму, что Кристева осуждает постмодернизм², что фукианцы редко общаются

с дерридаистами, что Сиксу и Иригарэй расходятся в самых фундаментальных вещах, и что единственная тоненькая ниточка между французским феминизмом и деконструкцией протянута между Сиксу и Деррида, хотя определенное родство в текстуальных практиках можно обнаружить между Деррида и Иригарэй. Бидди Мартен также права в том, что почти весь французский феминизм верен идеям высокого модернизма и авангарда, что делает проблематичным объединение этих теорий и типов письма просто под категорией постмодернизма.

Я предлагаю вопрос о постмодернизме читать не просто как вопрос, который постмодернизм ставит перед феминизмом, а как вопрос о том, что такое постмодернизм. Каким типом существования он обладает? Этот термин защищает Жан-Франсуа Лиотар, но он сам не может быть превращен в пример того, что делают все остальные подразумеваемые постмодернисты.³ Скажем, работы Лиотара существенно расходятся с работами Деррида, который не поддерживает понятие “постмодерна”, и других, представителем которых делают Лиотара. Парадигматичен ли он? Имеют ли все эти теории одну и ту же структуру (удобная идея для критика, что обошелся бы без всех их вместе взятых)? Попытка колонизовать и одомашнить эти теории под знаком тождества, сгруппировать их искусственно и принудительно под одной рубрикой — не просто ли это отказ допустить особенность каждой из них, повод не читать, и не читать внимательно? Раз Лиотар использует этот термин, и раз его можно с удобством сгруппировать с неким набором авторов, и если некая проблематичная цитата оказывается из его текста, то может ли эта цитата послужить “примером” постмодернизма, симптоматичным в целом?

Но если я понимаю часть проекта постмодернизма, она состоит в постановке под вопрос того, как подобные “примеры” и “парадигмы” служат субординации и затиранию того, что они пытаются объяснить. Так “целое”, все поле постмодернизма в его предполагаемой широте, эффективно “производится” примером, призванным выступать симптомом и образом целого; вследствие чего, если опираясь на пример из Лиотара мы думаем, что имеем репрезентацию всего постмодернизма, мы тем самым силой производим замену примером всего поля, совершая насильственную редукцию всего поля к кусочку текста, который благоволит прочтеть критик, кусочку, который как раз очень кстати и содержит термин “постмодерн”.

В определенном смысле этот жест концептуального принуждения, группирующий под постмодернизмом множество позиций вместе, заменяющий постмодернизм эпохой или синтетическим целым, и провозглашающий, что некая часть может представлять это искусственно сконструированное целое, действует как определенная уловка власти, уловка самовозвеличения. В лучшем случае парадоксально, что этот акт концептуального принуждения, приводящий к нерасчленимому группированию под постмодернизмом [множества] позиций, нацелен на предотвращение опасности политического авторитаризма. Ибо предполагается, что некая часть текста репрезентативна, что она представляет [весь] феномен, и что структура “этих” позиций может быть адекватно и экономично распознана в структуре одной из них. Что с самого начала санкционирует это предположение? С самого начала мы должны верить в то, что теории выдвигаются в виде неких пучков или организованных единств, и что

исторически набор структурно схожих теорий возникает как артикуляция исторически сложившихся условий человеческого сознания. Этот гегельянский троп, продолжаемый Адорно, с самого начала предполагает, что эти теории могут замещать одна другую, ибо они [лишь] по-разному симптоматизируют общую структурную диспозицию. И однако же такое предположение более принимать невозможно, поскольку то гегелевское предположение, что с самого начала возможен синтез, как раз и оспаривается разнообразно некоторыми из тех позиций, что счастливо объединены под знаком постмодернизма. Можно показать, что если — и в той степени, в которой — постмодернизм функционирует как такой объединяющий знак, он несомненно знак “модернистский”, того, почему есть вопрос, решающий для выбора позиции за или против этого постмодернизма. Вводить этот термин как такой, что может либо приниматься, либо отвергаться, значит вынуждать его занять одну из позиций в паре и утверждать логику непротиворечивости вопреки некой более производительной схеме или над нею.

Возможно, причина такой унификации позиций кроется в самом анархизме этой сферы, где различия между позициями не могут быть сведены к уровню отношений симптома, образца или репрезентативности друг для друга или для некой общей структуры, называемой постмодернизмом. Если термин “постмодернизм” имеет определенную силу или смысл в рамках социальной теории, или, в частности, феминистской социальной теории, то таковые, возможно, заключены в некотором упражнении в критике, стремящемся показать, как теория — как философия — всегда включена в отношения власти, и возможно как раз на это симптоматически нацелена попытка одомашнить и отвергнуть набор мощных критических подходов под рубрикой постмодернизма. То, что философский аппарат во всем разнообразии своих концептуальных нюансов всегда вовлечен в осуществление власти, — идея не новая, но тогда опять же не следует смешивать постмодернизм с новым, и вообще погоня за “новым” относится к диспозиции высокого модернизма, а постмодернизм, если хотите, вселяет сомнение в возможности такого “нового”, что в той или иной форме не было бы уже включено в “старое”.

Но вот какой момент в последнее время отчетливо артикулируют некоторые критики нормативной политической философии — что обращение к позиции — гипотетической, вне фактов, воображаемой — помещающей себя вовне игры власти, стремящейся установить метаполитическую основу для согласовывания властных отношений, — есть, возможно, наиковарнейшая уловка власти. И то, что эта позиция вовне власти претендует на легитимность через обращение к первичному и подразумеваемо универсальному соглашению, нимало не избавляет от ответственности; для чего проект рационального предназначает то, что полагается соглашением? Какая форма коварного культурного империализма возводит себя здесь в закон под знаком универсального?⁴

Не знаю насчет термина “постмодерн”, но если существует такой момент — и особенный момент — что я бы скорее назвала постструктурализмом — он состоит в том, что власть пронизывает сам концептуальный аппарат, стремящийся согласовать свои термины, включая субъектную позицию критика; и далее, что эта вовле-

ченность критических терминов в поле власти есть не приход нигилистического релятивизма, неспособного к выработке норм, но, скорее, сама предпосылка политически ангажированной критики. Устанавливать набор норм, находящихся вовне власти или силы есть сама по себе властная и силовая концептуальная практика, сублимирующая, маскирующая и расширяющая свою собственную властную игру через обращение к тропам нормативной универсальности. И дело здесь не в том, чтобы покончить с основаниями или даже бороться за позицию, проходящую под именем антифундационализма. Обе эти позиции вполне гармонируют как разные версии фундационализма и порождаемой им скептической проблематики. Скорее задача в том, чтобы спросить, что *санкционирует* устанавливающий основания теоретический ход, и что конкретно он исключает или перекрывает.

Кажется, теория непрерывно постулирует основания, и формирует имплицитные метафизические обязательства как нечто само собой разумеющееся, даже стремясь уберечься от этого; основания функционируют как неподвергавшееся и неподвергаемое сомнению в рамках любой теории. И однако, эти “основания”, то есть те предпосылки, что функционируют как санкционирующие опоры, они-то сами разве не основаны на исключениях, которые при рассмотрении раскрывают предпосылку основания как исторически обусловленное и спорное предположение? Даже когда мы утверждаем, что под данным основанием лежит некий предполагаемо универсальный базис, такое предположение и такая универсальность просто составляют новое измерение неусомняемого.

Как мы могли бы основывать теорию или политику на “универсальной” речевой ситуации или субъектной позиции, если и в самой категории универсального только начала выявляться ее в высокой степени этноцентрическая необъективность? Сколько же существует “универсалий”⁵ и насколько конфликт культур понимаем как столкновение наборов полагаемых безусловными и непримиримых “универсалий”, конфликт, который не может быть улажен через обращение к культурно-империалистическому представлению об “универсальном”, или, скорее, может быть разрешен только через такое обращение ценой [применения] насилия? Я думаю, мы были свидетелями как раз такого концептуального и физического насилия в той практике войны Соединенных Штатов против Ирака, когда арабский “другой” понимался радикально “вовне” универсальных структур разума и демократии, и потому зывал к насильственному помещению вовнутрь их. Важно, что США были вынуждены поступиться демократическими принципами политического суверенитета и свободы слова — среди всего прочего — чтобы насильственно вернуть Ирак в лоно “демократии”, и этот силовой прием обнаружил, среди прочего, что подобные понятия демократии вводятся через отступление от тех самых демократических принципов, что должны быть установлены. Говоря более широко, в политическом контексте современной постколониальной системы, возможно, особенно необходимо подчеркивать, что сама категория универсального есть место упорной борьбы и ресигнификации.⁶ В свете спорного характера этого термина принимать с самого начала процедурное или сущностное понятие универсального безусловно означает внедрять в поле социального понятие — культурный гегемон. Следовательно, провозвещать это понятие как философский инстру-

мент, улаживающий конфликты власти, означает как раз сберечь и воспроизводить позицию гегемонической власти, метаполитически учреждая ее как место предельной нормативности.

Сперва может показаться, что я просто ввожу более конкретную и внутренне различную “универсальность”, более синтетическое и полное понятие универсального, тем самым подпадающее под то самое фундаментальное понятие, что я пытаюсь преодолеть. Но моя задача, думаю, значительно отличается от такой, где артикулировалась бы постижимая универсальность. В первую очередь, подобного тотализующего понятия можно достичь только ценой новых и последующих исключений. Термин “универсальность” необходимо было бы оставить всегда открытым, всегда спорным, для того, чтобы не перекрыть заранее попытки привнесения [иного смысла] в будущее. Как для меня, так и с любой исторически обусловленной точки зрения, любая тотализующая концепция универсального скорее нивелирует, чем санкционирует какие бы то ни было непредвиденные заявления, сделанные под знаком “истинно универсального”. В таком смысле я не разделяюсь с этой категорией, но пытаюсь освободить ее от груза фундаментализма, чтобы превратить ее в место непрерывной политической борьбы.

Социальной теории, вовлеченной в демократическую борьбу в постколониальном контексте, необходимо найти способ поставить под вопрос те самые основания, которые она вынуждена закладывать. Именно этот ход — перехватывание вопрошанием уловки власти, стремящейся скрыться от борьбы — на мой взгляд, является самой сутью любого радикального политического проекта. Поскольку постструктурализм предлагает способ критики, подвергающий такому оспариванию фундаментализм, он может использоваться как часть такого радикального подхода. Заметьте, я сказала “может использоваться”: думаю, такая теория не приводит к неким неизбежным политическим последствиям, но лишь к возможному расширению политического горизонта.

Если один из связываемых с постмодернизмом взглядов есть тот, что эпистемологическая отправная точка для философии неадекватна, то все дело должно быть не в субъектах, выступающих в знании и теории под знаком постмодерна, стравленных с другими субъектами, выступающих в знании и теории под знаком модерна. Ведь это тот самый вид структурирующей полемики, что оспаривается тем соображением, что артикулируемая субъектом позиция всегда определенным образом выстроена тем, что должно быть вытеснено ради удержания данной позиции, и что субъект, проводящий некую теорию, выстроен как “теоретизирующий субъект” набором процедур исключения и отбора. Ибо, в самом деле, кто же выстроен как теоретик феминизма, и чья встроенность в полемику огласовывается? Не всегда ли в этом случае власть действует заранее, в тех самых процедурах, что устанавливают, кто будет субъектом, говорящим от имени феминизма, и к кому он будет обращаться? И разве также не ясно, что процесс субъекции[подчинения] входит частью в процесс субъективации, производящий до вас одного субъекта феминистской полемики? Что говорит, когда “я” говорю с вами? Каковы институциональные истории субъекции и субъективации, что “помещают” меня в определенную позицию здесь и

сейчас? Если есть нечто, называемое “позицией Батлер”, то ли это, что я придумываю, публикую и защищаю, что принадлежит мне как вид академической собственности? Или же есть грамматика субъекта, просто подталкивающая нас помещать меня в позицию собственника этих теорий?

Как же все таки позиция становится позицией, если очевидно, что не каждое высказывание квалифицируется как таковая? Очевидно, что дело в очевидной санкционирующей/авторизующей власти, очевидно не производимой самой позицией. Моя позиция является моею в той степени, в которой “я” — и я не уклоняюсь от этого местоимения — переигрываю и переозначаю выстроившие меня позиции, вырабатывая возможности их сходимости, и пытаюсь вести счет возможностям, что они систематически исключают. Но очевидно, что в этом случае “я” не господствую над выстроившими меня позициями, по-хозяйски — инструментально снуж меж ними, отбрасывая одни, принимая другие, хотя какая-то часть моей деятельности и может принимать такую форму. “Я”, могущее выбирать из них, всегда уже выстроено ими. “Я” есть пересадочная станция в этой игре, но сказать, что “я” помещено в эти условия, было бы просто недостаточно сильным высказыванием; “я”, это “я” *выстроено* этими позициями, и эти позиции являются не всего лишь теоретическими продуктами, но организующими принципами, полноправно управляющими материальными практиками и институциональными соглашениями, теми матрицами власти и дискурса, что производят меня как жизнеспособного “субъекта”. Действительно, это “я” не было бы думающим и говорящим “я”, если бы те самые позиции, которым я противостояю, те, для которых характерны те утверждения, что субъект должен быть дан заранее, что дискурс есть инструмент или отражение этого субъекта, — эти позиции уже есть часть того, что выстраивает меня.

Никакой субъект не является собственной отправной точкой; и фантазия, что он таковой является, может быть лишь отказом признать его конститутивные отношения путем разыгрывания их на компенсаторной сцене внешнего. Действительно, можно вспомнить то утверждение Люс Иригарэй, что субъект, понимаемый как фантазия автогенеза, всегда уже маскулинен. Психоаналитически такая версия субъекта выстроена через отказ признать или через первичное вытеснение его зависимости от материнского. И стать *субъектом* по такой модели безусловно не есть феминистская цель.

Критика субъекта — не отрицание и не отказ от субъекта, но скорее способ подвергнуть сомнению его конструкцию преданного или фундаменталистской предпосылки. Вначале войны против Ирака почти все мы видели стратегов, расстилающих перед нами карты Ближнего Востока как объекты для анализа и цели для инструментальных военных действий. Генералы, отставные и при исполнении, призывались масс-медиа взамен воюющих, чьи намерения неизменно реализовывались разрушением различных иракских военных баз. Различные подтверждения быстрого успеха этих операций распространялись с большим энтузиазмом, и казалось, что это поражение цели, эта явственно безусловная реализация намерения через инструментальное действие без особых помех или сопротивления стала поводом не просто уничтожить военные объекты Ирака, но и защитить маскулинизированный западный

субъект, чья воля немедленно становилась делом, чье высказывание или приказ материализовывались в действии, уничтожающем саму возможность ответного удара, и чья всепобеждающая сила разом закрепляла непроницаемые контуры собственной субъектности.

В этой связи было бы интересно вспомнить, что Фуко связывал смещение интенционального субъекта с властными отношениями нового времени, которые он сам ассоциировал с войной.⁷ Я думаю, он имел в виду, что предпринимающие действия субъекты сами суть результат предпринятых ранее действий, и что контекст наших действий здесь есть конститутивная возможность самой нашей способности действовать, а не просто или не только внешняя сцена или театр действий. Но что возможно более важно, действия, предпринятые через такой субъект, суть звенья в цепи действий, что более не может пониматься как однозначная по направлению или предсказуемая в последствиях. И вот милитарный инструментальный субъект возникает сперва чтобы произносить слова, что материализуются прямо в деструктивных делах. И в ходе всей войны маскулинный западный субъект словно перекупил божественную власть претворять слова в дела; и почти все телеведущие были головокружительно счастливы, демонстрируя, наблюдая, паллиативно разыгрывая точность разрушения. Когда началась война, по телевидению зазвучали слова “эйфории”, и один телеведущий назвал оружие США инструментами “ужасной красоты” (CBS), преждевременно и фантазматично радуясь его способности самостоятельно действовать в мире инструментально, уничтожая сопротивление и контролируя последствия этого уничтожения. Но последствия такого действия не может предвидеть инструментальный актер, сейчас радуясь результативности своих интенций. Фуко указывал как раз на то, что такой субъект сам является результатом генеалогии, которая уничтожается в тот момент, когда субъект принимает себя за единственную причину своих действий, и что результаты действия всегда занимают место провозглашенного намерения или цели действия. Да, результаты инструментального действия всегда достаточно сильны для того, чтобы пролиферировать сквозь контроль субъекта, и да, опорить рациональную прозрачность интенциональности субъекта, и так ниспровергнуть определение самого субъекта. Я хочу сказать, что мы побывали в самой гуще празднования частью правительства Соединенных Штатов и некоторых его союзников фантазматического субъекта, однозначно определяющего свои слова, того, что в некоторой степени был типизирован раздувшимися головами отставных генералов, обрамленными картой Ближнего Востока, где говорящая голова такого субъекта была того же размера, если не больше, что и область, над которой он стремился господствовать. Это было в определенном смысле изображением империалистического субъекта, визуальной аллегорией самого действия.

Здесь вы думаете, что я провела различие между самим действием и чем-то вроде репрезентации, но я хотела бы усилить сказанное. Вы, вероятно, могли заметить, как Колин Пауэлл, генерал объединенного комитета начальников штабов, изобрел, я думаю, новый военный термин для ракетного удара, а именно “the delivery of an ordnance” [доставка снарядов]. Я думаю, эта фраза важна; она изображает насильственное действие как действие законное (военный термин “ordnance” [артиллерий-

кое снаряжение] связан этимологически с юридическим “ordinance” [распоряжение]), и так оборачивает разрушение в видимость законного порядка [orderliness]; но более того, она представляет ракету как род команды, [разнарядки,] приказа [order], которому надо подчиняться, и тем самым сама представляется определенным актом речи, не только доставляющим сообщение — убирайтесь из Кувейта — но и эффективно усиливающим это сообщение страхом смерти и самой смертью. Конечно, это сообщение не может быть получено, поскольку оно убивает адресата, так что это никакое не распоряжение [ordinance], но крах всех распоряжений, отказ от коммуникации. А те, кто остался прочесть сообщение, они не прочтут то, что иногда вполне буквально написано на ракете.

Всю войну мы смотрели на и через гибриды телеэкрана и объектив бомбометателя. В этом смысле видеозапись этой войны не есть *рефлексия* на войну, но узаконение ее фантазматической структуры, и часть тех самых приемов, посредством которых она строится и ведется как война. Так называемая “умная бомба” снимает свою цель, пока летит к ней, — бомба с камерой на носу, эдакий оптический фаллос, — передает запись назад на командный центр, и эта запись потом монтируется на телевидении, эффектно обращая телеэкран и зрителей в огромный довесок к самой бомбе. В этом смысле — глядя на то, что мы бомбардируем — мы идентифицируемся одновременно и с бомбардировщиком, и с бомбой; по воздуху нас доставляют с североамериканского континента в Ирак, оставляя в то же время безопасно всунутыми в кресла в наших собственных гостиных. Экран умной бомбы, конечно, сам разрушается в тот момент, когда она производит свое разрушение, и можно сказать, что эта запись безусловно разрушительного действия, в которой не фиксируется само разрушение, тем самым порождает фантазматическое разделение между ударом и его последствиями. Итак, как зрители, мы поистине разыгрываем аллереорию военного триумфа: мы сохраняем визуальную дистанцию и телесную безопасность, бестелесно производя убийство — бескровное — и позволяющее нам сохранить нашу радикальную непроницаемость. В этом смысле мы абсолютно приближены к этой зоне разрушения, абсолютно неотъемлемы от нее, и абсолютно дистанцированы, мы — фигура имперской власти, глядящей с воздуха, глобально, бестелесный убийца, которого убить невозможно, снайпер как фигура империалистической военной власти. А телеэкран еще усугубляет этот взгляд с воздуха, поддерживая фантазию трансцендентности, бесплотного инструмента разрушения, бесконечно защищенного от ответного удара электронной дистанцией.

Взгляд с воздуха никогда не приближается, чтобы узреть *результаты* причиненного разрушения, и как только такое приближение видеокамеры становится все более возможным, экран как нельзя более к стати уничтожается сам. И хотя было сделано возможным увидеть, что это гуманные бомбардировки, нацеленные на здания и военные сооружения, это было, наоборот, результатом раскадровки, исключавшей из поля зрения систематическое уничтожения населения, что Фуко называет мечтой государств нового времени [modern].⁸ Или возможно следует сформулировать это иначе: в точности благодаря исключению из поля зрения своих целей под

рубрикой доказательств точности прицеливания эта раскадровка эффективно осуществляет истребление, систематически ею дереализуемое.

Полубожество военного субъекта США, эйфорически воплощавшее фантазию легкого достижения своих целей, неспособно понять, что его действия произвели последствия, далеко выходящие за поле его фантазматического зрения; оно полагает, что его цели были достигнуты за считанные недели, и что действия завершены. Но действие продолжает действовать и после того, как интенциональный субъект объявил о его завершении. Последствия этих действий уже внедрились в такие сферы и процессы, где он не только не мог их предвидеть, но и неспособен в итоге их контролировать, последствия, подвергающие массивному и насильственному удару фантазматическое самопостроение западного субъекта.

Если получится, я попытаюсь еще вернуться к этому субъекту. В некотором смысле он выстроен через исключение и дифференциацию, возможно, через вытеснение того, что затем скрывается, перекрывается эффектом автономии. В этом смысле автономия есть логическое следствие отрицаемой зависимости, то есть автономный субъект способен питать иллюзию лишь пока он скрывает [от себя] разрыв, из которого она выстроена. Эта зависимость и этот разрыв уже суть социальные отношения, предшествующие формированию субъекта и его обуславливающие. Следовательно, это не отношение, в котором субъект обретает себя, как одно из тех, что формируют ситуацию [вокруг него]. Субъект выстроен через акты дифференциации, вычлещающие субъект из выстраивающего его окружения, сферы презируемой изменчивости, конвенционально ассоциируемой с женским, но, конечно, не только с ним. Как раз в прошедшей войне мы видели “этого араба”, сконфигурированного как презируемый другой, а также как пространство для гомофобного фантазма, что проявился в изобилии плохих шуток, основанных на лингвистическом скольжении от Садама к Содому.

Не существует онтологически нетронутой рефлексивности субъекта, впоследствии помещаемого в культурный контекст; культурный контекст, так сказать, уже присутствует здесь как неартикулируемый процесс производства субъекта, скрытый каркасом, кадром, стремящимся разместить готовый субъект во внешней паутине культурных отношений.

Наверное, соблазнительно думать, что предполагать субъект заранее необходимо для того, чтобы обеспечить ему *свободу действия*. Но заявлять, что субъект сконструирован, не значит заявлять, что он детерминирован; наоборот, сконструированность субъекта есть предусловие его свободы действия. Ибо что делает возможным целенаправленную и значительную реконфигурацию культурных и политических отношений, если не отношение, которое может быть обращено на себя, переделано, отброшено. Нужно ли нам теоретически предполагать свободного субъекта с самого начала *до того*, как мы сможем артикулировать условия важной социальной и политической задачи трансформации, сопротивления, радикальной демократизации? Если мы не предоставляем заранее теоретической гарантии свободе действия, обречены ли мы оставить трансформационную и политически значимую практику? Я считаю, что такая свобода связана с пониманием личности как инструментального

актора, сталкивающегося с внешним ему политическим полем. Но если принять, что политика и власть существуют уже на том уровне, где субъект и его свобода действия артикулируются и делаются возможными, то свободу действия можно *допустить* только ценой отказа от исследования ее построения. Предположим, что “свобода действия” формально не существует, или, если и существует, то не имеет отношения к рассматриваемому вопросу. В некотором смысле эпистемологическая модель, предоставляющая нам предданного или свободного субъекта, отказывается признать, что *свобода действия есть всегда и только политическая прерогатива*. Если так, то решающим будет вопрос об условиях ее возможности, а не принятие ее как не требующей доказательств априорной гарантии. Вместо этого необходимо задаться вопросом, какие возможности мобилизации производятся на базе существующих конфигураций дискурса и власти. Где возможности переделки той самой матрицы власти, которой мы выстроены, реконструкции законности такой выстроенности, и работы друг против друга тех регуляционных процессов, что могут дестабилизировать существующие режимы власти? Ибо если субъект выстроен властью, эта власть не исчезает в тот момент, когда субъект выстроен, и такой субъект никогда не выстраивается полностью, но подвергается ее воздействию и производится снова и снова. Такой субъект — не основание и не продукт, но постоянная возможность определенного процесса ресигнификации, перенаправляемого и тормозимого другими механизмами власти, но он же есть и возможность для переделки самой власти. Недостаточно сказать, что субъект постоянно вовлечен в сферу политики; такая феноменологическая формулировка упускает, что субъект есть образование, отрегулированное и произведенное заранее. И как таковой целиком политичен; и возможно *наиболее* политичен, когда заявляется, что он предшествует самой политике. Осуществлять такой тип фуккианской критики субъекта значит не отменять субъект или декларировать его смерть, но утверждать лишь, что определенные версии субъекта наделены политическим коварством.

Для субъекта быть предданной отправной точкой политики означает уклоняться от вопроса о политическом конструировании и регуляции самого субъекта; ибо важно помнить, что субъекты выстраиваются путем исключения, то есть путем создания области де-авторизованных, несанкционированных субъектов, пре-субъектов, фигур презрения, населения, вычеркнутого из поля зрения. Это видно, например, в сфере закона, когда сначала нужно пройти определенный ценз для того, чтобы стать, буквально, истцом по делу о дискриминации по признаку пола или об изнасиловании. И здесь крайне необходимо спросить, кто же квалифицируется как “кто”, какие систематические структуры рас-полномочивания делают для определенных потерпевших невозможным эффективное использование “я” в суде? Или, не так откровенно, в социальной теории, такой, как *Колонизатор и Колонизованное* Альберта Мемми, в других отношениях властного призыва к радикальному освобождению, категория женщин не подпадает ни под одну категорию: ни угнетателя, ни угнетенного.⁹ Как мы теоретически исключаем женщин из категории угнетенного? Здесь конструкция субъектных позиций направлена на исключение женщин из описания угнетения, что является продолжением другого типа угнетения, вызванного тем самым *вычеркива-*

нием, что обосновывает артикуляцию эмансипаторного субъекта. Как становится ясным исходя из книги Джоан Скотт *Гендер и Политики Истории*, поняв, что субъект формируется путем операций исключения, далее необходимо проследить операции такого построения и вычеркивания.¹⁰

Приведенное выше — набросок частично фукианского переписывания субъекта, попытка переобозначить субъект как место переобозначений. В результате это не “прошание” с субъектом как таковым, но скорее призыв переработать это понятие вне терминов эпистемологически данного. Но возможно, Фуко не постмодернист; в конце концов, он анализировал власть *нового* [modern] времени. Здесь безусловно идет речь о смерти субъекта, но *какого именно* субъекта? Каков статус высказывания, объявляющего о его кончине? Что говорит сегодня, что субъект мертв? Что есть речь, кажущаяся ясной, ибо как иначе высказывание может быть услышано? Итак ясно, что смерть субъекта не есть конец свободы действия, речи, политического спора. Это рефрен, что как раз сегодня, когда женщины начинают осваивать место субъекта, звучит с позиций постмодернизма вместе с утверждением о смерти субъекта (есть разница между постструктуралистскими позициями, когда утверждается, что субъект *никогда* не существовал, и позициями постмодернистскими, когда утверждается, что субъект *некогда* существовал в целостном виде, но больше не существует). Некоторым это кажется заговором против женщин и других раз-освобожденных групп, только начинающих сегодня говорить от самих себя. Но что на самом деле имеется в виду и как мы можем объяснить себе ту мощную теоретическую критику субъекта как инструмента западной империалистской гегемонии, что предпринята Глорией Анзалдуа¹¹, Гайатри Спивак¹² и различными [другими] теоретиками постколониализма? Здесь безусловно звучит то предостережение, что в самой борьбе за освобождение и демократизацию мы можем перенять те самые модели доминации, которыми мы были угнетены, не отдавая себе отчет в том, что доминация осуществляется единственным образом: через регуляцию и производство субъектов. Путем каких исключений сконструирован феминистский субъект, и как эти исключенные области возвращаются к обиталищу “целостности” и “единства” феминистского “мы”? И каким образом та самая категория, субъект, “мы”, что, как предполагается, была принята в целях солидаризации, производит ту самую фракционализацию, что она была призвана подавить? Хотят ли женщины становиться субъектами по модели, требующей и производящей предшествующую область унижения и должен ли феминизм стать процессом, самокритичным в отношении процессов производства и дестабилизации категорий идентичности? Рассматривать конструкцию субъекта в качестве политической проблематики не то же самое, что покончить с субъектом; деконструировать субъект не значит отрицать или отбрасывать сам концепт; наоборот, деконструкция предполагает лишь, что мы приостанавливаем все фиксации на том, к чему термин, т. е. “субъект”, отсылает, и что мы рассматриваем лингвистические функции, которые он выполняет в [процессах] консолидации и маскировки власти. Деконструировать значит не отрицать или упразднить, но проблематизировать и, что может быть более важно, открыть термин, такой как субъект, для такого использования и раззертыгивания, что ранее не было санкционировано.

В рамках феминизма, кажется, существует некая политическая необходимость говорить в качестве и от лица *женщин*, и я бы не оспаривала эту необходимость. Действительно, именно таким образом действуют репрезентационные политики, и в этой стране лоббирование никак не возможно без обращения к политикам идентичности. Так что мы соглашаемся, что и для демонстраций, и для законодательных усилий, и для радикального движения необходимо делать заявления от имени женщин.

Но эту необходимость нужно примирить с другой. В ту минуту, когда к категории женщин обращаются для *описания* “электората”, от лица которого говорят феминистки, неизменно возникает внутренний спор о том, каково будет дескриптивное содержание этого термина. Есть те, кто утверждают, что для женщин характерна онтологическая специфика как следствие деторождения, которая формирует основание для специфичного репрезентативного интереса в законе и политике; и потом есть те, кто понимают материнство как социальное отношение, которое в современных социальных обстоятельствах является специфичной и кросс-культурной ситуацией для женщин. И есть те, кто пытаются обратиться к Гиллиган и другим, чтобы основать специфику женского, проявляющуюся в женских сообществах или способах познания. Но каждый раз, когда эта специфика артикулируется, возникает сопротивление и фракционализация внутри того самого “электората”, который предполагалось *объединить* артикуляцией общего для всех элемента. В начале 80-х феминистское “мы” подверглось справедливым атакам цветных женщин, утверждавшим, что “мы” всегда белое, и что это “мы”, предназначавшееся для солидаризации движения, само становится источником болезненной фракционализации. Попытка характеризовать специфику женского через обращение к материнству, биологическому или социальному, производит такую же фракционализацию или даже отречение от феминизма в целом. Ибо безусловно не все женщины суть матери; некоторые не могут ими быть, некоторые слишком молоды или слишком стары для этого, некоторые решили не быть матерями, а для некоторых матерей это не обязательно повод для политической солидаризации в феминизме.

Я могу доказать, что любая попытка дать универсальное или специфическое содержание категории женщин, где предполагается, что этот гарант солидарности требуется *заранее*, обязательно производит фракционализацию, и такая “идентичность” как отправная точка никогда не удержится в качестве основы для феминистского политического движения. Категории идентичности никогда не являются только дескриптивными, они всегда нормативны и в таком качестве задействуют операции исключения. Я не говорю, что не следовало бы употреблять термин “женщины” или что следовало бы объявить о гибели этой категории. Наоборот, если в феминизме предполагается, что “женщины” обозначает умопостигаемое поле различий, которое невозможно обобщить или резюмировать дескриптивной категорией идентичности, сам термин становится местом постоянной открытости и возможности переобозначения. Я могу показать, что разногласия среди женщин по поводу содержания этого термина следовало бы беречь и ценить, ибо эти непрекращающиеся разногласия следовало бы провозгласить необходимым основанием феминистской теории. Т.о. деконструкция субъекта феминизма означает не цензурирование его употребления,

но наоборот, высвобождение его для будущего множественных сигнификаций, избавление его от онтологий про-материнских или про-расовых, за которыми он закреплён, ввести его в игру как место, где могут возникнуть самые непредвиденные значения.

Парадоксально, но может быть только через освобождение категории женщин от фиксированного референта нечто вроде “свободы действия” становится возможным. Ибо если термин допускает ресигнификацию, если его референт не фиксирован, тогда возможности для новых конфигураций термина становятся возможными. В некотором смысле то, что обозначают женщины, слишком долго полагалось само собой разумеющимся, и то, что было зафиксировано как “референт” термина, было “зафиксировано”, нормализовано, обездвижено, парализовано на позициях субординации. В результате означаемое слилось с референтом, посредством чего набор значений был принят как нечто присущее реальной природе самих женщин. Выделить референт из означаемого, санкционировать или сохранить категорию женщин как место возможных ресигнификаций — это расширить возможности того, что значит быть женщиной, и в этом смысле — обусловить и дать жизнь укреплённому смыслу свободы действия.

И можно было бы спросить: но разве не должен тогда быть набор норм, проводящих различие между теми дескрипциями, которые вроде бы соответствуют категории женщин, и теми, что нет? Единственным ответом на этот вопрос будет контрвопрос: кто устанавливает эти нормы и какую борьбу они порождают? Создать нормативное основание для решения вопроса о том, что следовало бы включить в дескрипцию женщин, всегда значило бы только произвести новую зону политического спора. Такое основание ничего бы не разрешало, но по своим же внутренним законам напоролось бы на собственную авторитарную уловку. Я не говорю, что не бывает оснований, нет, но говорю, что где бы основание не возникало, всегда будет и потеря им устойчивости, и борьба. Что судьба оснований — всегда лишь ставиться под вопрос, в этом как бы постоянный риск демократизационного процесса. Отказываться от этой борьбы значит жертвовать радикальным демократическим импульсом феминистской политики. Что категория выходит из подчинения, и даже служит антифеминистским целям, будет частью риска этой процедуры. Но этот риск произведен тем фундационализмом, что стремится охранить феминизм от него. В некотором смысле риск и есть основание — а значит и нет — любой феминистской практики.

В конце этой статьи я хочу обратиться ещё к одному вопросу данной темы, о том, может ли феминистская теория разворачиваться без предположения материальности женских тел, материальности пола. Как тянет антипостмодернистская песнь, если все есть дискурс, то значит, тела не обладают реальностью? Как тогда понимать физическое насилие, от которого страдают женщины? В ответ на эту критику я хотела бы показать, что такая формулировка превратно истолковывает нашу критическую позицию.

Я не знаю, что такое постмодернизм, но зато имею определенное представление о том, что значит подвергать понятия тела и материальности деконструирующей критике. Деконструировать концепцию материального или телесного не значит отрицать или отвергать эти термины. Деконструировать их значит скорее продолжать их

использовать, повторять их, и повторять против них самих, смещая их из контекста, в котором они были развернуты как инструменты подавляющей власти. Здесь, безусловно, необходимо достаточно внятно сказать, что для теории возможности не исчерпываются либо *принятием* материальности, либо ее *отрицанием*. Моя цель как раз не делать ни того, ни другого. Проблематизировать предпосылку не то же самое, что разделяться с ней; скорее это значит высвобождать ее из метафизического обиталища, чтобы заняться совершенно другими политическими целями и служить им. Проблематизация материальности тел влечет за собой в первую очередь потерю эпистемологической определенности, но эта потеря не обязательно в результате влечет за собой политический нигилизм.¹³

Если деконструкция материальности тел приостанавливает и проблематизирует традиционный онтологический референт термина, она не замораживает, не отменяет, не делает бесполезным и не лишает смысла использование термина, наоборот, она обеспечивает условия *мобилизации* означаемого в интересах альтернативного производства.

Рассмотрим самый материальный из концептов, “пол”, который Моник Виттиг называет целиком политической категорией, а Мишель Фуко — регуляторным и “фигуративным единством”. Для обоих теоретиков пол не *описывает* исходную материальность, но производит и регулирует *интеллигибельность материальности* тел. Для обоих, но по разному, категория пола налагает дуализм и единообразие на тела в целях поддержания репродуктивной сексуальности как принудительного порядка. В другом месте я показывала более подробно, как это работает, а здесь для наших целей я бы хотела обозначить такой тип категоризации как насильственный, силовой, а такое дискурсивное упорядочивание и производство тел соответственно такой категории пола — самим по себе физическим насилием.

Насилие буквы, насилие знака, устанавливающего, что будет и что не будет означаемым, что будет и что не будет считаться интеллигибельным, обретает политическую значимость, когда буква есть закон или авторитативное узаконивание того, что будет материальностью пола.

Итак что же этот тип постструктуралистского анализа может сказать нам о насилии и страдании? Возможно, то, что формы насилия должны пониматься как более всеобъемлющие, более конститутивные, более коварные, чем то нам позволяли видеть предшествующие модели? Частично как раз об этом мы говорили ранее в дискуссии о войне, но теперь позвольте мне сделать это иначе и уже в другом контексте.

Рассмотрим законодательные ограничения, регулирующие, что расценивается, а что не расценивается как насилие: здесь политики насилия действуют через регулирование того, что сможет, а что не сможет проявиться как последствие насилия.¹⁴ Вот это уже и есть насилие в действии, в этом ограничении прав, в этом обозначении заранее, что будет, а что не будет подпадать под термины “изнасилование” или “государственное насилие”, — или возьмем случай тех штатов, где для установления “изнасилования” необходимо двенадцать независимых улик, что уже можно назвать изнасилованием с содействием государства.

Сходная линия аргументации действует в дискурсах о насилии, где “пол” женщины объявляется ответственным за преступления против нее самой. Защитник на слушании дела о групповом изнасиловании в Нью-Бедфорде спросил истцу: “Если Вы живете с мужчиной, что Вы делали, шатаясь по улицам и подвергаясь насилию?”^{15 16}. “Шатаясь” в этой фразе вступает в грамматическое противоречие с “подвергаясь насилию”: это “подвергаясь” звучит как “подставляясь”, “нарываясь” или “набиваясь”, как будто это некий дар, рассчитывая на который, она шаталась по улицам, однако “подвергаясь насилию” ведь означает пассивный залог. Буквально, разумеется, было бы трудно что-либо делать, “шатаясь” и в то же время “подвергаясь насилию”, что наводит на мысль, что здесь пропущен некий оборот, возможно, связывающий прошедшее с последующим. Если смысл предложения сводится к “шатаясь по улицам {с целью подвергнуться} насилию”, что кажется единственным логически оправданным способом соединения этих двух частей фразы, то тогда изнасилование как пассивное претерпевание как раз и есть объект ее активного поиска. Первое же подчиненное предложение [условия] означает, что она “относится” к дому, своему мужчине, что дом есть место, где она — домашняя собственность этого мужчины, а “улицы” превращают ее в движущуюся мишень. Если она стремилась подвергнуться насилию, она стремилась стать собственностью кого-то другого, и это стремление заключено в ее желании, понимаемом здесь как совершенно неистовое в своих поисках. Она “бродила” означает здесь, что она бродила, заглядывая под каждый камень в поисках насильника, который бы удовлетворил ее. Важно, что эта фраза строится как структурирующий принцип ее желания “подвергнуться насилию”, где “изнасилование” изображено как акт добровольной само-экспроприации. Поскольку становится собственностью мужчины есть цель ее “пола”, артикулированная в ее сексуальном желании и через него, и изнасилование есть способ реализации этой апроприации “на улице” {логика, по которой изнасилование это брак, если улицы это дом, то есть “изнасилование” есть уличный брак, брак без дома, брак для бездомной, и что брак есть одомашненное изнасилование}, то “изнасилование” есть логическое следствие осуществления ее пола и ее сексуальности вне дома. Неважно, что изнасилование произошло в баре, поскольку “бар” в рамках такого воображаемого есть не что иное, как продолжение “улицы”, или, возможно, типичный для нее момент, ибо нет ограждения, то есть нет защиты иной чем дом как домашнее брачное пространство. В любом случае, единственной причиной нанесенного ей ущерба изображается здесь ее “пол”, который — рассматриваемый здесь в его естественном стремлении к экспроприации — будучи вынесен за пределы домашней собственности, естественным образом влечет за собой изнасилование, и потому он и ответствен за него.

Здесь категория пола функционирует как принцип и производства, и регуляции одновременно, причина нанесенного ущерба, введенная как формативный принцип тела, есть сексуальность. Пол здесь — категория, но не только репрезентация; это принцип производства, интеллигибельности и регуляции, реализующий насилие и рационализирующий его после факта [его осуществления]. Сами термины, с помощью которых насилие объясняют, осуществляют насилие, и допускают действие наси-

лия еще до того, как оно примет эмпирическую форму криминального акта. Такое риторическое осуществление *показывает*, что насилие производится через усечение возможностей в результате такого анализа, через вычеркивание и отрицание, детерминирующее поле совершения и интеллигибельности преступлений виновностью. Как категория, эффективно производящая политическое значение того, что она описывает, “пол” отрабатывает здесь свое немое “насилие”, регулируя [вопрос о том], что может и что не может быть обозначенным.

Я помещаю термины “пол” и “насилие” в кавычки: знак ли это некой деконструкции, конец всяких политик? Или же я подчеркиваю основанную на повторении структуру этих терминов, то, как они уступают повторению, исполняясь неоднозначности, и делаю я это как раз для последующего политического анализа? Я помещаю их в кавычки, показывая, что они спорны, открыты к захватам, чтобы инициировать спор, проблематизацию их традиционного развертывания, и требуя иного [развертывания]. Кавычки не подвергают сомнению актуальность или достоверность пола или насилия как политических проблем, но скорее показывают, что пределы и рамки их материальности определяются целиком политически. Эффектом кавычек является денатурализация терминов, обозначение этих знаков как зон политической борьбы.

И если появляется страх, что без принятия за должное субъекта, его пола, его гендера или его материальности феминизм затонет, было бы мудро уделить внимание политическим последствиям сохранения на их местах тех предпосылок, что с самого начала пытались закрепить наше подчиненное положение.

¹ Здесь стоит отметить, что в рамках некоторых новых политических теорий, особенно в работах Эрнесто Лакло и Шантал Муфф (*Hegemony and Socialist Strategy*, London: Verso, 1996), Уильяма Коннолли *Political Theory and Modernity* (Madison: University of Wisconsin Press, 1988), а также Жан-Люка Нанси и Филиппа Лаку-Лабарта (“Le retrait du politique” in *Le Retrait du politique*, Paris: Editions galilée, 1983) мы наблюдаем настоящее указание на то, что поле политики с необходимостью выстраивается через производство детерминирующего внешнего. Другими словами, сама сфера политики выстраивает себя через производство и натурализацию “до-” и “не-” политического. В терминах Деррида, это производство “конститутивного внешнего”. Здесь я хотела бы ввести разграничение между выстраиванием поля политики, что производит и натурализует это конститутивное внешнее, и полем политики, что производит и расценивает как сложившиеся исторически специфические параметры этого конститутивного внешнего. Хотя я не считаю, что дифференциальные отношения, через которые выстраивается само поле политики, могут быть продуманы до конца (как раз потому, что статус такого продумывания должен быть продуман в свою очередь и так до бесконечности), я нахожу очень полезным введенное Уильямом Коннолли понятие конститутивных антагонизмов, понятие, находящее параллельное выражение у Лакло и Муфф, относящееся к форме политической борьбы, подвергающей сомнению параметры самого политического. Это особенно важно для феминизма, поскольку основания политики (“универсальность”, “равенство”, “правовой субъект”) выстроены через акты немаркированных расовых и гендерных исключений и путем слияния политики с публичной жизнью, где приватное (репродукция, сфера “фемининного”) расценивается как до-политическое.

² Julia Kristeva, *Black Sun: Depression and Melancholy* (New York: Columbia University Press, 1989), pp. 258-59.

³ Смыкание Лиотара со всем массивом ученых, общим числом помещаемых под рубрику "постмодернизма", осуществляется в заглавии и тексте эссе Шейлы Бенхабиб "Epistemologies of Postmodernism: A Rejoinder of Jean-François Lyotard," in *Feminism/Postmodernism*, ed. by Linda Nicholson (New York: Routledge, 1989).

⁴ В изобилии указания на это мы находим в феминистской критике на Юргена Хабермаса и Кэтерин МакКиннон. См. Iris Young, "Impartiality and the Civil Public: Some Implications of Feminist Criticisms of Modern Political Theory", in Seyla Benhabib and Drucilla Cornell, eds., *Feminism as Critique: Essays on the Politics of Gender in Late-Capitalism* (Oxford: Basil Blackwell, 1987); Nancy Fraser, *Unruly Practices: Power and Gender in Contemporary Social Theory* Minneapolis, University of Minnesota Press, 1989; и в особенности "What's Critical about Critical Theory: The Case of Habermas and Gender," Wendy Brown, "Razing Consciousness," *The Nation*, 250:2, January 8/15, 1990.

⁵ См. Ашис Нанди о понятии альтернативных универсалий в предисловии к *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism* (New Delhi: Oxford University Press, 1983).

⁶ В этом контексте важно помнить о понятии "гибридности", введенном Хоми Бхабха.

⁷ Michel Foucault, *The History of Sexuality, Vol. I: An Introduction*, trans. by Robert Hurley (New York: Random House, 1980), p. 102.

⁸ "Войны более не ведут во имя суверена, которого нужно защитить; их ведут ради выживания каждого; населения [стран] целиком мобилизуются для резни во имя жизненной необходимости: бойни, — пишет он, — стали жизненно важными". Позже он добавляет, что "основополагающий принцип битвы — что необходимо быть способным убить, чтобы выжить — стал принципом, определяющим стратегию государств. Но речь более не идет о юридическом существовании суверенитета; биологическое существование населения страны ставится на карту. Если геноцид действительно мечта власти нового времени, то не вследствие возврата к древнему праву убивать; но потому, что власть располагается и осуществляется на уровне жизни, биологического вида, расы, огромных массивов населения." Foucault, *The History of Sexuality*, p. 137.

⁹ "В разгар мятежа, — пишет Мемми, — колонизованное все еще несет следы и воспроизводит уроки длительного сожительства (так улыбка или жесты жены, даже во время бракоразводного процесса, странно напоминают жесты ее мужа)". Здесь Мемми строит аналогию, предполагающую, что колонизатор и колонизованное существуют в параллельном и отдельном отношении разводящихся мужа и жены. Аналогия одновременно и парадоксально изображает и феминизацию колонизованного, когда колонизованное подразумевается находящимся в подчинении у мужчин, и исключение женщин из категории колонизованного субъекта. Albert Memmi, *The Colonizer and the Colonized*, (Boston: Beacon Press, 1965), p. 129.

¹⁰ Joan W. Scott, *Gender and the Politics of History*, (New York: Columbia University Press), 1988, introduction.

¹¹ Gloria Anzaldúa, *La Frontera/Borderlands*, (San Francisco: Spinster Ink, 1988).

¹² Gayatri Spivak, "Can the Subaltern Speak?" in *Marxism and the Interpretation of Culture*, eds. Nelson and Grossberg, (Chicago: University of Illinois Press, 1988).

¹³ Тело, постулируемое до знака, всегда *постулируется* или *обозначается* как *предшествующее* ему. Такая сигнификация действует, производя эффект самой процедуры, тело, которое она в то же время и тем не менее претендует исследовать как то, что *предшествует* сигнификации. Если тело, обозначаемое как предшествующее сигнификации, само есть эффект сигнификации, то язык по своему статусу — миметическому или репрезентативному, когда утверждается, что знаки следуют за телами как их по необходимости отображения, — вообще не является миметическим; наоборот, он продуктивен, конститутивен, и даже можно показать что *перформативен*, поскольку акт сигнификации производит то тело, что затем им объявляется предшествующим всякой и каждой сигнификации.

¹⁴ Развернутый анализ отношений между языком и изнасилованием см. в Sharon Marcus, "Fighting Bodies, Fighting Words: A Theory and Politics of Rape Prevention", *Feminists Theorize the Political*, eds. J. Butler and J.W. Scott, (New York: Routledge, 1992), pp. 341-68.

¹⁵ "If you're living with a man, what are you doing running around the streets getting raped?" — Батлер в этой фразе на разговорном американском английском смущает не только соседство двух "длительностных" глагольных форм, совмещенных по времени ("running around" и "getting raped"), но и странный *буквальный* смысл "getting raped": "get raped" означает "быть изнасилованной", но "ингование", "активирование" в грамматическом смысле служебного здесь глагола to get как бы возвращает ему часть его буквальных значений, т. е. не только "получать", но и "добывать", "доставать" ("getting" is procuring (доставая), acquiring (приобретая), having (ну, скажем, обретая)); "get raped" это то же, что и "be raped", пассив, но "getting raped" — уже некий почти "активный пассив", что-то вроде "насилуясь", хотя бы по стандартному "активному" употреблению формы "getting". Адекватно непереводимо. — *Прим. перев.*

¹⁶ Цит. по Catharine MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State*, (Boston: Harvard University Press, 1989), p. 171.